

18+

Абат Естенов

Везучий сукин сын

Абат Естенов

Везучий сукин сын

«Издательские решения»

Естенов А.

Везучий сукин сын / А. Естенов — «Издательские решения»,

Он появился на свет там, где жизнь редко давала второй шанс. Оставленный у реки младенец должен был стать очередной забытой историей. Но судьба распорядилась иначе. Через годы испытаний, потерь, случайностей и встреч он будет снова и снова оказываться там, где другие ломаются. Это история человека, которому будто везёт вопреки всему. Но что, если за везением скрывается не случайность, а сила, которую он сам ещё не понял? Но однажды ему предстоит узнать.

© Естенов А.

© Издательские решения

Содержание

Везучий сукин сын	6
Эпилог	6
Жизнь	7
Пакет	7
Дом ребёнка	12
Своя стая	14
Товарняк	17
Сон	22
Дороги	24
Документ	27
Чужой	29
Европа	32
Земляк	32
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Везучий сукин сын

Абат Естенов

© Абат Естенов, 2026

ISBN 978-5-0071-4528-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Везучий сукин сын

Эпилог

Странная штука — везение. О нём говорят все, но никто не может договориться, что это такое.

Одни считают его наградой. Другие — насмешкой судьбы над тем, кто её не заслужил. Третьи вовсе не верят в него и объясняют всё случайностью, статистикой, слепым распределением вероятностей во Вселенной, которой всё равно, кто родился под счастливой звездой, а кто нет.

Но правда в том, что редко кто судит о везении само по себе. Почти всегда — сравнивая.

Мы почти никогда не измеряем удачу в абсолютных числах. Мы всегда меряем её в чужих судьбах, приставленных рядом, как линейка. Человек, которому досталось многое, назовёт себя везучим — если не вспомнит о ком-то, кому досталось ещё больше. Человек, которому не досталось почти ничего, назовёт себя неудачником — пока не оглянется на того, кому не досталось вовсе ничего.

Везение и невезение живут не в фактах нашей жизни, а в зазоре между тем, что случилось с нами, и тем, что могло случиться вместо этого. Этот зазор невидим, его нельзя измерить, но именно в нём человек и решает для себя — благословенна его судьба или проклята.

Есть и другая, менее удобная правда: возможности человека почти никогда не совпадают с тем, что ему было отпущено при рождении. Кто-то получает всё и не делает ничего. Кто-то не получает почти ничего — и делает из этого целую жизнь. Между тем, что даётся, и тем, что из этого выходит, лежит расстояние, которое никакая удача преодолеть не может — только сам человек.

Может быть, поэтому история везения — это никогда не история одного везения. Это всегда история того, что человек выбрал делать с тем зазором, который ему достался: жить в его тени или превратить его в единственное топливо, которое у него есть.

Каждый из нас — чей-то более везучий или менее везучий вариант. Вопрос лишь в том, чью жизнь мы выбираем для сравнения — и хватит ли нам однажды смелости выбрать вместо этого просто собственную.

Жизнь

Пакет

В солнечном посёлке Чиназ, там, где мутная Сырдарья лениво огибает тополиные рощи, жила девушка, которая с детства мечтала о большой жизни. Она не знала, что у этой реки, такой сонной и безобидной на вид, уже была заготовлена для неё роль — и что однажды она придёт на её берег совсем не за тем, о чём мечтала здесь столько вечеров подряд.

Ей казалось, что настоящий мир начинается где-то далеко за пределами родных улиц, за бескрайними хлопковыми полями и привычными глинобитными дворами. Там, в большом городе, её ждала другая жизнь — самостоятельная, свободная, наполненная возможностями, которые здесь, в Чиназе, даже не имели названия.

Больше всего она мечтала о Москве.

Она хотела уехать туда, поступить в престижный университет, получить образование и однажды стать человеком, которым будут гордиться не только родители, но и она сама.

Девушка была единственной дочерью в семье. Родители души не чаяли в ребёнке и с детства старались дать ей всё, что могли, — даже то, что вслух не одобряли соседи.

Особенно большое влияние на неё оказала мать.

Когда-то та сама была учителем русского языка и литературы. Ей довелось преподавать в Оренбурге, Владикавказе, Алматы и Ташкенте. Она много читала, знала литературу и верила в силу образования почти религиозно — так, как верят в то единственное, что у тебя нельзя отнять. Именно в Ташкенте женщина встретила будущего мужа, после чего её жизнь постепенно привела её в Чиназ.

Со временем семейный быт, заботы и традиционные представления о роли женщины стали понемногу перекраивать её собственную жизнь по чужим лекалам. От прежних мечтаний остались только воспоминания — и одна упрямая мысль, которую она не позволила себе похоронить.

То, что не удалось осуществить самой, она решила передать дочери.

Несмотря на пересуды родни мужа, несмотря на взгляды, которые бросали ей вслед соседки, она воспитывала дочь иначе. Учила её читать, думать самостоятельно, не соглашаться с миром только потому, что он вокруг такой, какой есть.

— Знания никто не сможет у тебя отнять, — говорила она дочери. И добавляла тише, почти для себя: — А больше у тебя ничего и не будет. Так пусть будет хотя бы это.

Девушка запомнила эти слова так, как запоминают клятву.

В школе она сильно отличалась от сверстников — не тем, что была лучше, а тем, что была другой. Одна из самых активных и при этом одна из самых упрямых учениц. Хорошая память, терпение и удивительная способность часами заниматься одним делом, если знала, что это приближает её к цели.

Она знала английский, французский и испанский.

Жадно читала всё, что попадалось в руки: от современных авторов до зарубежной классики. Некоторые книги невозможно было найти в местной библиотеке, и тогда она заказывала иностранную литературу через школьного директора — тот качал головой, но помогал: тоже, видимо, когда-то мечтал о чём-то, чего не случилось.

Пока ровесницы проводили вечера на посиделках, гуляли и присматривались друг к другу украдкой, как это принято, она чаще оставалась дома с книгой. Её называли гордячкой. Она не спорила — ей было всё равно, лишь бы дошло дело до главного.

Её целью был МГИМО.

Она была уверена, что поступит. Не потому, что была наивна, а потому что не позволяла себе думать иначе — сомнение было роскошью, на которую у неё не было времени.

Учебный год закончился.

В её руках оказался заветный красный диплом. А вскоре сбылась и главная мечта — она поехала в Москву и поступила на факультет международных отношений.

Во многом это стало возможным благодаря матери, которая поддерживала её всеми силами, которые у неё ещё оставались, — и которых у неё, если разобраться, было куда меньше, чем она показывала.

Вернувшись домой перед началом учебного года, девушка привезла с собой ощущение победы. Впереди была большая, взрослая жизнь, и она уже почти чувствовала её вкус.

В честь поступления родители устроили небольшой семейный праздник. Пришли немногочисленные родственники, кто-то из соседей заглянул на минуту — поздравить и незаметно позавидовать.

Отец гордился дочерью так, как гордятся тем, что наконец-то удалось сделать всё правильно. Мать смотрела на неё и, кажется, впервые за долгое время почувствовала, что всё было не зря: все её книги, бессонные ночи, разговоры о будущем — всё это получало продолжение не в ней самой, а в дочери. Может быть, это и есть единственный способ, которым несбывшееся передаётся дальше.

Никто из них не знал, что у судьбы на этот вечер были другие планы — и что она, как это часто бывает, предпочла подождать, пока все успеют порадоваться. Радость в ту ночь была отмерена, будто по счёту, и счёт этот уже подходил к концу, хотя никто за столом об этом не подозревал.

В тот вечер девушка встретилась с бывшими одноклассниками. Рассказывала им о Москве, об университете, о том, какой будет её жизнь. Подруги слушали, смеялись, радовались вместе с ней — и, может быть, немного завидовали, но по-доброму.

Домой она возвращалась поздно ночью. Посёлок уже спал. Собаки лаяли где-то за арыком, и звук этот разносился по пустым улицам гулко, как в колодце, будто сама темнота вокруг стала чуть плотнее, чем обычно.

Чтобы сократить путь, девушка решила пройти через железнодорожные пути — она делала так десятки раз, и ничего никогда не случалось. Именно поэтому она не почувствовала ничего, кроме лёгкого раздражения, когда среди путей ей послышались шаги. Только на секунду, где-то под рёбрами, у неё будто похолодело — и тут же прошло. Она списала это на усталость и вино за праздничным столом.

Она перешла несколько рельсов и уже почти вышла на другую сторону, когда из темноты появился мужской силуэт.

Она успела подумать: это же просто кто-то из посёлка — и в ту же долю секунды поняла, всем телом, раньше разума, что ошиблась.

Он схватил её за руки — грубо, с такой силой, что она не сразу поверила, что это происходит на самом деле, здесь, в двух шагах от дома, где спали родители.

Там, в темноте у кустов, были ещё мужчины — она не разглядела, сколько. Голоса, дыхание, чьи-то руки — всё смешалось в один давящий, беззвучный внутри неё крик, потому что вслух кричать она уже не могла: чья-то ладонь легла ей на рот, и мир мгновенно сузился до одной этой ладони, до запаха табака и пота, до невозможности вдохнуть.

Гром проходящего товарного состава заглушил всё — её голос, их голоса, весь мир, — и в этом грохоте была последняя, дикая надежда, что кто-нибудь всё-таки услышит, и последнее же, окончательное понимание, что никто не услышит никогда.

Она запомнила этот грохот на всю жизнь. Потом, спустя годы, любой похожий звук — гроза, стройка, захлопнувшаяся где-то далеко дверь — будет вырывать землю у неё из-под

ног, на долю секунды возвращая её туда, в темноту у путей, в то самое сузившееся до предела мгновение.

Наутро её жизнь изменилась навсегда, а сама она этого ещё не знала — ей казалось, что просто нужно пережить один страшный день, и всё вернётся на круги своя. Она ошибалась. Круги своя больше не существовало. Что-то в ней захлопнулось в ту ночь так же плотно и безвозвратно, как захлопывается крышка гроба, — только хоронили не тело, а всё, чем она была до этого.

Она больше не думала о Москве. Не думала об университете. Не думала о будущем — эти мысли теперь казались чужими, будто принадлежали кому-то другому, кем она была ещё вчера.

Все мечты и планы рухнули за одну ночь — не потому, что она разлюбила их, а потому, что не могла больше позволить себе на них смотреть.

Рассказать кому-нибудь о случившемся она не могла. В её мире это было не только преступлением против неё, но и позором, о котором общество умело заставить молчать саму жертву — умело так хорошо, что молчание становилось второй, невидимой раной.

Она замкнулась в себе. Перестала выходить из комнаты, перестала читать, почти перестала разговаривать. Единственное окно в её комнате она завесила старой шалью — не потому что боялась, что кто-то увидит, а потому что не могла больше видеть саму улицу, тот посёлок, ту темноту.

Только мать знала всю правду.

Она не задавала вопросов — по крайней мере, не тех, что требуют ответа. Она приносила еду, садилась рядом, иногда просто молчала вместе с дочерью, будто разделяя тяжесть пополам было единственным, что ещё оставалось в её силах. По ночам, когда дочь наконец засыпала, мать выходила во двор и стояла там одна, глядя в темноту в ту сторону, где были пути, — и ничего не могла с этим сделать, кроме как стоять.

Прошли месяцы.

Однажды стало известно, что девушка беременна.

Для семьи, для посёлка, для всего того мира, в котором они жили, это могло стать не просто позором — приговором. Не для мужчин, которые исчезли в темноте и которых никто не искал. Для неё.

Мать приняла решение раньше, чем позволила себе его обдумать: скрыть беременность от всех.

Она одна приняла роды.

Ночью, при свете одной-единственной лампы, в доме появился ребёнок.

Новорождённый лежал рядом с матерью и кричал — тонко, требовательно, как кричат все новорождённые, не подозревая, что этот крик может оказаться никому не нужным. Девушка смотрела на него и ничего не чувствовала. Ни радости. Ни любви. Ни ненависти. Только пустоту такую полную и такую холодную, что в ней, казалось, не могло уместиться вообще ничего — даже горе, — и от этой пустоты ей самой становилось страшно, будто она заглянула в себя и не нашла там дна.

Мать смотрела на внука иначе. В её взгляде на секунду мелькнуло что-то похожее на то, с чем она когда-то смотрела на собственную дочь, — и это было невыносимее всего остального.

Утром мать оставила ребёнка рядом с дочерью и ушла по делам — обычным, будничным делам, потому что жизнь посёлка не останавливалась, что бы ни случилось в одном отдельно взятом доме.

Ночью девушка поднялась.

Она не плакала. Не колебалась — по крайней мере, внешне, хотя руки её дрожали так, что она дважды с трудом сумела завязать узел на пакете. Осторожно взяла младенца, завернула его в полиэтилен и вышла из дома через окно, то самое, завешенное шалью, — будто через ту

же дыру в мире, через которую когда-то вошёл в её жизнь весь этот ужас, должен был выйти и его последний след.

Посёлок спал. Только где-то далеко провыла собака — протяжно, на одной ноте, и оборвала вой так же резко, как оборвался когда-то её собственный крик под чужой ладонью.

Она шла пешком к Сырдарье, и ей казалось, что она не идёт, а её несёт — течением, которого она сама не выбирала, с той самой ночи у путей. Ребёнок под её локтем то затихал, то снова начинал тонко скулить, и каждый его звук отдавался у неё где-то под самым горлом, как ещё один удар, который она обязана была выдержать молча.

Ночь была тихой, лишь редкий ветер шевелил траву вдоль арыков, и от этой тишины было ещё страшнее, чем было бы от любого шума, — будто весь мир затаился, чтобы посмотреть, что она сделает.

Когда девушка подошла к реке, она остановилась. Перед ней текла тёмная, безучастная вода — та самая река, вдоль которой она столько раз мечтала о Москве, глядя в её течение и представляя, что оно куда-то её унесёт.

Оно и унесло. Только не её.

Она несколько мгновений стояла неподвижно, и в груди у неё будто что-то разрывалось на две неравные части — и в эти мгновения было больше ужаса, чем во всей её оставшейся жизни: последний, почти неосознанный вопрос, который она задала себе и на который не позволила себе ответить.

Потом, не глядя вниз, будто боясь увидеть собственные руки, она бросила свёрток в реку.

Раздался тихий всплеск — до нелепого тихий, несоразмерный тому, что произошло, — и именно этот звук, а не крик, не слёзы, преследовал её потом чаще всего.

И она ушла. Не оглядываясь — потому что знала: если обернётся, обратно она уже не дойдёт.

Она вернулась домой ещё затемно и легла рядом с той, что накануне была её матерью, а теперь стала единственным человеком на свете, знавшим всё до конца. Она не заплакала и тогда. Слёзы, кажется, остались где-то там, у путей, — с той ночи она больше ни разу не смогла заплакать по-настоящему, сколько бы поводов жизнь ей ни давала.

Она прожила в Чиназе ещё много лет — вышла замуж за нелюбимого, но спокойного человека, родила ещё детей, которых, по общему мнению соседей, любила ровно и правильно, — и ни разу, ни единого раза, не подошла больше к берегу Сырдарьи. Она выбирала другую дорогу, даже если та была вдвое длиннее, лишь бы не проходить мимо воды. Но избежать реки полностью было невозможно — весь посёлок жил её течением, её запахом, влажным и немного тинистым, доносившимся по вечерам даже до самых дальних дворов, — и потому онемение, поселившееся в ней в ту ночь, никогда до конца не отпускало. Она знала, чисто арифметически, что та же самая вода, мутная и безучастная, текущая мимо её нового дома, где-то там, ниже по течению, миновала уже и Шардару, и Кызылорду, и в конце концов терялась в песках, так и не донеся до моря ничего из того, что когда-то унесла с собой, — и это знание, никому не сказанное, стало её пожизненным, тихим наказанием, куда более действенным, чем любой суд.

Она вернулась в посёлок, оставив за собой только тёмную воду и маленький свёрток, который, как ей казалось, должен был бесследно исчезнуть в течении, забрав с собой всё, что случилось.

Но река распорядилась иначе.

Пакет проплыл всего несколько метров. Течение вынесло его к берегу, где он зацепился за коряги и камыш — будто сама река решила, что ей достаточно чужого горя на сегодня.

Рассвет застал его там.

Утром полевые рабочие отправились проверять насосы. Один из них заметил у берега странный пакет и лениво поморщился — мусора в реке хватало.

Они подошли ближе, чтобы просто откинуть его подальше баграми, и один уже занёс руку с шестом, когда что-то в очертаниях свёртка заставило его замереть.

И тогда они услышали звук — тонкий, едва различимый, почти неотличимый от писка птицы в камышах. На секунду всем троим показалось, что это просто ветер или кулик, и эта секунда сомнения была самой длинной секундой в их жизни.

Один из них шагнул в воду по колено, не раздумывая, и разорвал пакет.

Внутри оказался новорождённый ребёнок — синюшный, неподвижный, покрытый илом и слизью, будто сама река нехотя выпустила его обратно.

Мужчина замер, держа его на вытянутых руках, не зная, живой перед ним или мёртвый, и в эти несколько ударов сердца — своего собственного, потому что чужое, кажется, уже не билось, — вся его жизнь сжалась до одного вопроса.

Он приложил дрожащую ладонь к маленькой груди.

Тишина.

Ещё раз.

Сердце билось.

Слабо.

Едва ощутимо, на грани того, чтобы вовсе прекратиться.

Но билось.

— Живой!

Этот крик разорвал утреннюю тишину сильнее любого грома.

Мужчины завернули ребёнка в чью-то куртку и, забыв про насосы, поспешно понесли его в посёлок — бегом, перебивая друг друга, будто от скорости их шагов теперь зависело, длиться ли этому чуду дальше.

Местный фельдшер осмотрел младенца и понял: ребёнку нужна срочная медицинская помощь, здесь её оказать было нечем. Он связался с районным центром.

Решение приняли быстро: ребёнка необходимо было доставить в Сарыагаш — ближайший город с настоящей больницей, за границей, в Казахстане.

Пока шли переговоры, пока искали машину, пока оформляли то небольшое, что можно было оформить для ребёнка без имени и без документов, — он лежал, обёрнутый в чужую куртку, и дышал. Каждый вдох давался ему как маленькая, отдельная победа, которую никто, кроме него самого, не мог одержать.

Так, спустя несколько часов после того, как его бросили умирать в реке, маленький мальчик уже ехал навстречу своей первой спасённой жизни — по дороге, которая вела его прочь от посёлка, где он родился, и от женщины, которая никогда не назовёт ему своего имени.

Он ещё не знал ни своего имени, ни того, кто его родители. Не знал, где будет жить. Не знал, сколько раз в будущем окажется на грани смерти и сколько раз с этой грани его будет утягивать обратно нечто, чему он сам не найдёт объяснения.

Но уже в первые часы своей жизни он сделал то, что потом станет его главным талантом, его ремеслом, его проклятием и его же спасением.

Он выжил.

Дом ребёнка

В Сарыагаше его отогрели, отмыли от ила и речной тины, поставили капельницу и несколько дней не были уверены, выживет ли он окончательно. Палата пахла спиртом и хлоркой, где-то за стеной ровно гудел старый холодильник для лекарств, а по ночам единственным звуком оставалось попискивание допотопного монитора, следившего за его сердцем, — то ровное, то вдруг проваливающееся в долгие, страшные паузы, от которых у дежурной медсестры каждый раз обрывалось что-то внутри, и она замирала над кроватью, не дыша, пока писк не возвращался.

Но он держался. Он, кажется, вообще не умел иначе — как будто река, вынеся его на берег, забыла забрать с собой что-то, что обычно забирает у тех, кто должен был утонуть.

Документов у него не было. Имени тоже. В журнале приёмного покоя его записали просто: «мальчик, найден в реке, личность матери не установлена». Через несколько дней дежурная медсестра, та самая, что не спала над ним первые ночи, заполняя очередную бумагу, вдруг отложила ручку и посмотрела на него — маленького, упрямо цепляющегося за жизнь вопреки всему, что должно было её у него отнять. Она сама не могла бы объяснить, что именно тогда с ней случилось: то ли усталость трёх бессонных смен, то ли что-то более простое и человеческое — невозможность продолжать писать «мальчик» о существе, которое смотрело на неё так, будто уже понимало больше, чем полагалось в его возрасте.

— Аман, — сказала она вслух, будто пробуя слово на вкус, и сама удивилась, насколько точно оно легло. По-казахски это слово означало «живой», «невредимый», «уцелевший» — то, чем он, собственно, и был, и то, чем оставалось только надеяться, что он будет ещё много раз в своей жизни.

Так у него появилось имя, а вместе с ним — единственное, что вообще осталось от истории его появления на свет: сухая казённая фраза «доставлен из приграничного района» и дата, которую позже возьмут за официальный день рождения, хотя на самом деле она была днём, когда он должен был умереть, а не родиться.

Как только состояние ребёнка перестало внушать врачам тревогу, документы передали дальше — по инстанциям, из района в область. Сарыагаш был лишь первой остановкой; постоянного дома для таких, как он, здесь не было. Решение пришло быстро и буднично, как решают такие вопросы, когда за спиной у ребёнка нет никого, кто мог бы поспорить: мальчика направили в дом ребёнка в Шымкент — туда, где такие учреждения были, где для найдёнышей без имени и без родни имелаась хоть какая-то система, способная взять их на себя.

Так, не прожив на свете и двух недель, Аман снова оказался в дороге — на этот раз не в свёртке, а на руках медсестры, в машине, которая везла его прочь от границы, от реки, от посёлка, о существовании которого он никогда не узнает, вглубь чужой для него, но отныне единственной страны.

Дом ребёнка в Шымкенте встретил его рядами одинаковых кроваток, запахом хлорки и молочной смеси и десятками таких же маленьких, как он, — тех, кого, как и его, кто-то не смог, не захотел или не решился оставить. Здесь никто не спрашивал, откуда он взялся: истории такого рода в этих стенах были не исключением, а фоном, на котором проходила обычная, размеренная жизнь учреждения.

Персонал относился к детям по-разному — кто-то по долгу, кто-то по призванию, а кто-то просто потому, что здесь платили зарплату, а другой работы в округе не находилось. Амону повезло с воспитательницей его группы — женщиной немолодой, немногословной, давно потеврявшей счёт детям, прошедшим через её руки, но так и не разучившейся замечать, если с кем-то из них было что-то не так. Именно она первой обратила внимание на то, что странно выделяло его среди остальных.

Он почти не плакал.

Не потому что был спокойным ребёнком в привычном смысле — просто, казалось, он очень рано понял то, что другие дети поймут гораздо позже, если вообще поймут: что плач не всегда приносит помощь, а иногда единственное, на что можно рассчитывать, — это переждать.

В полтора года он тяжело переболел воспалением лёгких — в переполненном учреждении, где на десятки детей приходилось слишком мало рук и слишком мало внимания, такое нередко заканчивалось плохо. Его дыхание в те дни было слышно через всю палату — хриплое, с присвистом, будто в груди у него что-то скреблось и не могло выбраться наружу; кожа стала серой, губы — почти синими, и даже выдавшая виды медсестра из соседнего крыла, зайдя проверить остальных, невольно замедляла шаг у его кровати. Несколько ночей воспитательница, отработав смену, оставалась в палате сверх часов — просто потому что не могла уйти, зная, что происходит с этим конкретным ребёнком за занавеской. Она сидела в темноте, вслушиваясь в каждый его вдох, ловя момент, когда хрип становился реже, и не могла понять, значит ли это, что ему легче, или совсем наоборот. Она потом никому не рассказывала, что в одну из этих ночей была уверена, что до утра он не доживёт.

Он дожил.

Не в первый и, как окажется, далеко не в последний раз в его жизни граница между «был» и «не было» пройдёт совсем рядом — настолько рядом, что со стороны это будет казаться уже не совпадением, а чем-то вроде системы, у которой просто пока не нашлось объяснения.

Шли годы. Он рос в общем ритме дома ребёнка, а после — детского дома, куда переводили детей постарше: подъём по расписанию, еда по расписанию, немного тепла — тоже, в сущности, по расписанию, потому что на всех одинаково его не хватало. Но там, где другие дети в таких условиях либо ломались, либо озлоблялись, либо просто гасли, он рано научился одному навыку, который со временем станет его главным ремеслом: наблюдать. Он запомнил, кто здесь решает, кто только делает вид, что решает, у кого можно попросить, а у кого — бесполезно; какое поведение вознаграждается, а какое остаётся незамеченным, пока не станет проблемой.

Он не был ни самым сильным среди мальчишек, ни самым громким. Но был, пожалуй, самым внимательным — а в мире, где от внимательности иногда напрямую зависело, достанется тебе лишний кусок хлеба или нет, это оказалось куда ценнее кулаков.

Воспитательница, та самая, что не спала над ним в детской реанимации, иногда — редко, не при других — говорила ему одну фразу, которую он запомнит на всю жизнь, хотя тогда не вполне понимал её смысл:

— Тебя не просто так вытащили из воды, — говорила она. — У воды не бывает так просто.

Он не знал, что она имела в виду — верила ли она в судьбу, в бога, в какую-то высшую бухгалтерию удач и невезений, или просто хотела, чтобы у мальчика без роду без племени было хоть что-то, за что можно держаться. Но эти слова застряли в нём глубже, чем большинство того, что ему говорили за все годы в детском доме.

Он ещё не знал, кем станет. Не знал, что однажды покинет эти стены и что мир, который ждёт его снаружи, окажется больше и разнообразнее, чем всё, что он мог себе представить, лёжа по вечерам под одинаковым казённым одеялом и слушая дыхание десятка чужих, но по своему родных ему детей.

Но он уже знал — пока ещё безотчётно, на уровне тела, а не мысли, — что бы ни случилось, выход находится всегда. Даже если этот выход — всего лишь несколько сантиметров течения, отделивших пакет от того, чтобы навсегда исчезнуть в реке.

Своя стая

В четыре года детей из дома ребёнка переводили в детский дом постарше — в другое крыло того же комплекса, где кровати сменялись рядами железных коек, а нянечки — воспитателями, которые уже требовали от своих подопечных не только не плакать, но и слушаться.

Здесь у Амана начиналась настоящая школа жизни, куда более жёсткая, чем любые уроки.

У детского дома, как у любого закрытого мира, были свои законы, и писаны они были не воспитателями, а самими детьми. Здесь ценилась не доброта, а сила и умение постоять за себя; здесь быстро учились не доверять словам взрослых, потому что слова эти слишком часто расходились с делом; здесь дружба могла завязаться за один вечер и рассыпаться на следующее утро, а могла продержаться десятилетия, потому что была единственной вещью, которую никто не мог у тебя отнять, кроме самого друга.

Были и радости — настоящие, невыдуманные, может быть, даже более яркие, чем у детей из обычных семей, привыкших к тому, что праздник случается каждый год сам собой. Здесь Новый год готовили неделями: клеили снежинки из старых тетрадных листов, пахнувших клеем и хозяйственным мылом, репетировали номера для утренника, ради которого приезжали шефы с завода или благотворители из города и привозили целую машину подарков — одинаковых пакетов с мандаринами и шоколадными конфетами. Запах мандариновой кожуры на несколько дней перебивал в спальнях привычный запах хлорки и застиранного белья, и для многих детей именно этот запах, а не сам праздник, навсегда остался главным воспоминанием о доме, которого у них не было. Подарки дети потом растягивали на месяц, пряча в тумбочках и деля с теми, кому родители не привезли ничего, потому что родителей не было ни у кого.

Аман запомнил на всю жизнь один такой Новый год, когда ему было лет шесть: женщина из городской делегации, раздавая подарки, вдруг присела перед ним на корточки, заглянула в глаза и спросила, как его зовут. Он ответил. Она улыбнулась и сказала, что имя у него редкое и очень красивое. Это была одна фраза, сказанная случайно, между делом, — но он пронёс её потом через годы как доказательство того, что кто-то посторонний, не обязанный этого делать, всё-таки заметил в нём что-то, за что можно было бы уцепиться.

Такие моменты были редкими, и от этого — драгоценными.

Разочарований было значительно больше.

Раз в несколько месяцев в детский дом приезжали потенциальные приёмные родители — знакомиться, присматриваться, иногда обещать вернуться. Дети быстро выучили эту процедуру наизусть: их выстраивали в актовом зале, причёсанных, в лучшей одежде, и просили улыбаться, петь, читать стихи — показывать себя с той стороны, с которой хотелось бы, чтобы их выбрали. Кого-то выбирали. Большинство — нет.

Хуже всего было не то, что не выбирали сразу. Хуже было, когда выбирали — а потом передумывали.

Один мальчик из группы Амана, на два года его старше, месяц провёл в приёмной семье на испытательном сроке — успел даже привыкнуть к отдельной комнате, к тому, что его называют по имени с ласковым суффиксом, к мысли, что теперь у него, кажется, действительно есть мама. Его вернули за неделю до собственного дня рождения — тихо, без объяснений, которые могли бы прозвучать не унижительно. Он вернулся в свою прежнюю группу с тем же чемоданчиком, с которым уезжал, будто и не покидал этих стен, — только взгляд у него после этого стал другим: пустым в одной точке, будто он смотрел сквозь людей, а не на них. Он не плакал при других. Он вообще перестал плакать после этого случая — так же, как когда-то, ещё младенцем, перестал плакать Аман, только по другой причине: не потому что рано понял бесполезность слёз, а потому что понял: показанная слабость здесь становится оружием в чужих руках.

Жестокости хватало и без взрослых.

Старшие мальчики устанавливали собственную иерархию, где младшие обслуживали более сильных — отдавали лучшие куски еды, выполняли поручения, терпели тычки и подзатыльники, которые никто из воспитателей не замечал, потому что не хотел замечать: разбираться с этим означало брать на себя ответственность, а ответственности в этих стенах и без того было слишком много на слишком малое число рук. Кто-то из воспитателей был по-настоящему добр. Кто-то — равнодушен настолько, что это равнодушие само по себе становилось формой жестокости. А кто-то срывался на детях за собственную усталость, за собственную неудавшуюся жизнь, которую эта работа не столько кормила, сколько добивала день за днём.

Аман рано понял, куда в этой иерархии выгоднее и безопаснее всего встать — не наверх, куда лез не каждый и не всегда безнаказанно, но и не в самый низ, где жили те, кого травили просто по инерции, потому что травить кого-то было заведено. Он выбрал третий путь: сделал себя полезным. Он умел договориться с завхозом о лишней порции хлеба, умел вовремя промолчать, а вовремя — вставить нужное слово; быстро выучил, кто из старших мальчиков что любит, и с кем как нужно себя вести, чтобы не задевали. Это не была дружба в чистом виде — это было раннее, вынужденное мастерство переговорщика, которое много лет спустя он назовёт, оглядываясь назад, первой в своей жизни настоящей профессией.

Но даже это умение не всегда спасало.

Был случай — Аману тогда исполнилось восемь, — когда старший мальчик, которому он чем-то не угодил, столкнул его с лестницы чёрного хода, той самой, которой пользовались редко и в которую никто из взрослых не заглядывал. Он запомнил не сам толчок, а то, что было после: беззвучный, бесконечно долгий момент полёта, когда тело ещё не понимало, что падает, а потом — удар, резкий и оглушительный, отозвавшийся не болью даже, а вспышкой белого света где-то внутри черепа. Аман пролетел весь пролёт и ударился головой о нижнюю ступеньку — на полсантиметра левее, и удар пришёлся бы точно в висок. Его нашли только через двадцать минут — оглушённого, в крови, заливавшей воротник рубашки и холодной лестничной плиткой под щекой, но в сознании. Врач, которого вызвали из города, сказал воспитателям прямо: ещё немного — и разговор в тот вечер шёл бы не о сотрясении, а совсем о другом.

Аман об этом случае вспоминал редко и без особой драмы — к тому времени такие вещи уже не казались ему из ряда вон выходящими. Но воспитательница, та самая, что когда-то не спала над ним в детской реанимации, узнав о случившемся, впервые за годы работы в этом доме позволила себе при детях повысить голос на старшего мальчика так, что его слышало всё крыло здания. А потом, оставшись с Аманом наедине, долго молчала, глядя на пластырь у него на виске, и наконец сказала то же самое, что говорила ему в детстве:

— Опять по краю прошёл. Тебе, видно, правда кто-то сверху выписал особую бумагу.

Он не ответил. Но эта фраза, наложившись на десяток похожих случаев за прошедшие годы, начала складываться в нём в нечто похожее на убеждение — не веру, а именно наблюдение, статистику одной отдельно взятой жизни: там, где для других всё заканчивалось иначе, для него почему-то каждый раз находился зазор в несколько сантиметров, в несколько секунд, в один случайно оказавшийся рядом взрослый.

Он ещё не называл это везением. Слово это придёт к нему позже, вместе со способностью оглянуться на собственную жизнь со стороны. Пока же это было просто фактом его существования, таким же обыденным, как утренний подъём по звонку и вечерняя переключка перед отбоем: что бы ни случилось, он почему-то оставался.

И, оставаясь, он смотрел, запоминал и учился — потому что в мире, где взрослые не защищали, а дети не щадили, единственной защитой, которую он мог себе позволить, было знание. Знание о людях, о том, как они устроены, чего боятся и чего хотят, — то самое знание,

которое годы спустя станет его инструментом там, куда ни один из воспитанников этого детского дома даже помыслить не мог однажды попасть.

Товарняк

К тринадцати годам Аман твёрдо усвоил одну вещь про свою жизнь: она была расписана вперёд с точностью, которая не оставляла места ни для вопросов, ни для мечты. Детский дом до шестнадцати. Потом — колледж по разнарядке, чаще всего строительный или технический, потому что туда брали без лишних разговоров. Потом — общежитие, работа, о которой не спрашивают, хочешь ты её или нет. Взрослые, которые вели у них уроки профориентации, говорили об этом будущем ровным, немного усталым голосом — как о погоде, которую нельзя изменить, а можно только к ней подготовиться.

Он слушал и понимал, что не хочет именно так.

Он не мог бы объяснить, что именно тянуло его прочь — не конкретная мечта, как у всех, а что-то более смутное и от этого более сильное: ощущение, что где-то там, за пределами города, за пределами всего, что он знал, существует другая скорость жизни, и что задерживаться здесь дольше необходимого означает согласиться никогда её не узнать.

О побегах в детском доме говорили нередко — обычно шёпотом, с придыханием, как о чём-то полуполюгендарном. Каждый год кто-то из старших пропадал на несколько дней, а иногда и навсегда; истории потом обрастали подробностями, часть которых явно была придумана, но зерно в них имелось: уезжали в основном в Алматы. Город тянул к себе всех, кому было некуда идти, — тем сильнее, чем меньше у человека было причин остаться там, где он есть.

Способ добраться туда был известен так же хорошо, как и сама идея побега. На товарной станции, в стороне от пассажирских путей, где охрана была не такой плотной, составы формировались и уходили на север почти каждую ночь. Забраться в пустой вагон или устроиться между контейнерами было делом техники и терпения — рискованным, но не таким уж редким среди тех, кому нечего было терять, кроме самой поездки.

Аман готовился к побегу три месяца — без спешки, так же, как когда-то в детстве изучал, кто из старших мальчиков чем дышит. Он копил еду, откладывая по кусочку хлеба и сахара из общей столовой, вызнал расписание охраны на товарной станции у знакомого мальчишки постарше, который сам уже однажды пытался уехать и вернулся, не доехав, — но за одну попытку успел изучить маршрут достаточно, чтобы поделиться им не жалея.

В одну из тёплых летних ночей, когда весь детский дом спал сном, вымотанным долгим июльским днём, Аман перелез через ограду со стороны хозяйственного двора и пошёл к станции — налегке, с маленьким свёртком еды и той одеждой, что была на нём.

Забраться в товарный вагон оказалось страшнее, чем он себе представлял. Металл под ладонями — холодный, шершавый от ржавчины. Запах мазута и креозота, вьедливый, забивающий горло. Темнота между ящиками — плотная, как вода. Состав тронулся не сразу. Несколько долгих минут — лежать неподвижно. Не дышать громко. Слушать. Шаги охранника где-то у соседних путей — то ближе, то дальше, то совсем стихли. А потом — рывок. Лязг сцепок, один, другой, третий, эхом вдоль всего состава. И земля под ним поехала.

Стук колёс сразу лёг в тело собственным, чужим ритмом — та-та-дах, та-та-дах, — и этот ритм он будет потом ловить в себе ещё много лет: в биении сердца после бега, в стуке дождя по крыше, всюду, где повторялся один и тот же двойной удар, отмеряющий не время, а само движение прочь.

Ночь в пути он не забудет никогда — не потому, что в ней было что-то величественное, а потому что именно тогда он впервые в жизни почувствовал одиночество не как фон, к которому давно привык в переполненном детском доме, а как нечто абсолютное. Между контейнерами гулял ледяной, несмотря на летнюю ночь, сквозняк — он забирался под одежду, под кожу, будто хотел выстудить его изнутри. Состав то набирал скорость, то подолгу стоял на безымянных полустанках, и в эти остановки тишина становилась такой плотной, что в ней

было слышно собственное сердце — и запах пыльного щебня, и далёкий, едва различимый лай собаки где-то за много километров. Он лежал, обхватив колени руками, и впервые задавал себе вопрос, который раньше не приходил ему в голову за ненадобностью: а что, если он в самом деле никому не нужен — настолько, что даже мир вокруг не заметит, доедет он живым или нет.

Утром состав пришёл в Алматы, и Аман, спрыгнув на пути в стороне от станции, пока не рассвело окончательно, впервые увидел город, о котором столько раз слышал шёпотом.

Он был огромным — куда больше, чем Аман мог вообразить. Горы, нависающие над ним с одной стороны, будто вырастали прямо из земли, ещё в дымке, лиловые в предрассветном свете; проспекты казались бесконечными, дома — недостижимо высокими, а людей на улицах было столько, что за первый же час у него закружилась голова от одной попытки разглядеть в этой толпе хоть одно знакомое лицо, которого, разумеется, там быть не могло. Пахло здесь совсем иначе, чем в Шымкенте, — не пылью и не арыками, а выхлопными газами, свежей выпечкой из подвальных пекарен и мокрым асфальтом после ночного полива улиц, и этот незнакомый, городской запах почему-то тревожил его сильнее, чем сам вид гор.

Именно тогда он и понял, в чём разница между одиночеством в переполненном детском доме и одиночеством здесь. Там его окружали десятки таких же, как он, — чужие, но одной с ним породы, знающие ту же жизнь, что и он. Здесь его окружали тысячи людей, ни один из которых даже не подозревал о его существовании и, что было куда хуже, ни один из которых не обязан был об этом узнавать.

Позже, освоившись на улицах достаточно, чтобы начать замечать не только опасности, но и оттенки, он вывел для себя одно наблюдение, к которому потом возвращался всю жизнь. Мир взрослых — тех, кто изредка соприкасался с его новой жизнью: сотрудники опеки в отглаженных костюмах, случайные прохожие с сумками из дорогих магазинов, чиновники за стеклянными перегородками — был устроен из вежливых слов, аккуратных бланков и сочувственных взглядов, которые ничего никому не стоили и ни к чему не обязывали. Этот мир говорил гладко и правильно, но, стоило заглянуть чуть глубже сказанных слов, обнаруживал внутри пустоту — фальшивое, отрепетированное благополучие, за которым чаще всего не стояло ни малейшего намерения что-то менять.

Изнанка улицы была устроена ровно наоборот. Там никто не притворялся добрым просто так и никто не улыбался без причины. Правила были жёсткими, порой жестокими — не тронешь чужое, не подставишь своего, не показывай слабинку, — но именно потому, что они были жестокими, они хотя бы были понятными и работали одинаково для всех, без исключений для тех, у кого лучше подвешен язык. Аман довольно быстро для себя решил, какой из этих двух миров он уважает больше, — и решение это далось ему куда легче, чем должно было бы даваться тринадцатилетнему мальчику.

Первые дни он ночевал на автовокзале «Сайран» — туда, как оказалось, стекались все, кому было некуда пойти: беглецы, такие же, как он, бездомные старики, потерявшиеся в жизни взрослые, случайные пассажиры, застрявшие между рейсами. Здесь у него быстро нашлись невольные учителя — мальчишки чуть постарше, давно освоившиеся в этом мире без крыши.

Один из них, костлявый подросток лет пятнадцати с рваным шрамом над бровью, которого все звали просто Рыжий, хотя волосы у него давно были не рыжими, а грязно-русыми, нашёл его на второй день — сидящим у стены с потеряннным видом человека, который ещё не понял, что попал в чужой мир со своими правилами.

— Ты откуда такой залётный? — спросил он, присаживаясь на корточки рядом и разглядывая Амана с нескрываемым интересом, каким разглядывают редкую находку.

— Из Шымкента, — коротко ответил Аман, не поднимая глаз.

— Детдомовский?

— Ну.

— Оно и видно. — Рыжий сплюнул сквозь зубы. — У вас, детдомовских, всегда одно и то же на лице написано: типа никому ничего не должен и никому не верю. Правильно, кстати. Здесь так и живи.

— А ты кто такой, чтобы советы давать?

— Я тут два года. — Рыжий усмехнулся, будто это само по себе было достижением, которым можно гордиться. — Живой ещё, как видишь. Значит, что-то понимаю.

Он помолчал, оценивающе глядя на Амана, потом кивнул своим мыслям и заговорил уже по-деловому, коротко, как говорят о вещах, которые давно надоели, но которые всё равно нужно объяснить новичку:

— Слушай сюда, раз уж один раз скажу. Спать на самом вокзале не вздумай — оттуда через час менты выкинут, а то и заберут. Есть место за котельной, там наши обычно. Никого не трогаешь — никто тебя не трогает, это правило одно на всех, и оно единственное, которое здесь реально работает. С едой — ходи к рынку под вечер, когда закрываются, там всегда что-то остаётся у контейнеров. И запомни главное: попадёшься патрульным — не молчи как пень и не ври в лоб, что бездомный. Скажешь «бездомный» — сразу в приют, а оттуда напрямик назад в детдом с сопровождением. Придумай что-нибудь другое. Историю. Такую, чтоб самому им расхотелось разбираться.

— Какую историю?

Рыжий пожал плечами, будто ответ был очевиден любому, кроме совсем зелёного новичка.

— Такую, после которой человеку либо жалко тебя становится, либо неудобно с тобой возиться. Третьего не дано. Придумаешь — свою, чужая не сработает, они это чувствуют.

Он поднялся, отряхнул колени и, уже отходя, бросил через плечо, не оборачиваясь:

— И имя своё здесь особо не называй. Раз назовёшься — потом от него не отвертишься, если что не так пойдёт. Тут у половины по три имени на выбор.

Аман запомнил каждое слово так, как когда-то запоминал расстановку сил в детском доме, — не потому что доверял этому парню, а потому что понимал: здесь, как и там, выживание начиналось со знания правил, а уж чувствовать доверие или нет было делом десятым.

Попрошайничество далось Аману тяжелее всего — не физически, а внутренне. Годы в детском доме приучили его держать лицо, не показывать нужду, справляться самому; теперь ему предстояло делать прямо противоположное — выставлять напоказ то, что он всю жизнь прятал, ради нескольких монет, которые решали, поест он сегодня или нет.

Он быстро понял то же, что понимали до него сотни таких же детей на этих же улицах: голая правда — «я сбежал из детского дома» — вызывала у прохожих в лучшем случае неловкость, в худшем — желание сдать его полиции. Правда была неудобной, потому что заставляла человека принимать решение. Куда охотнее люди откликались на историю — простую, понятную, не требующую от них ничего, кроме сочувствия и мелочи в кармане. Так у Амана появилась легенда: мальчик, оставшийся без родителей, приехал к дальней родне, а та его не приняла; называл он себя чужим именем, потому что своё, с его особенным смыслом, было слишком дорого, чтобы разменивать его на жалость незнакомых людей.

Первый раз он произнёс эту историю вслух перед пожилой женщиной у входа в супермаркет — руки у него тряслись сильнее, чем в ту ночь в товарном вагоне.

— Тётька, извините, — начал он, и голос сам собой сел ниже и жалобнее, чем обычно.

— Я к тётке приехал, а она переехала, я не знаю, куда теперь идти. Второй день не ел.

Женщина остановилась, окинула его быстрым взглядом с ног до головы — оценивающим, но не злым.

— Родители-то где у тебя, мальчик?

— Умерли. — Он сказал это ровно, без надрыва, потому что где-то читал или слышал, что переигранное горе людям не нравится — оно кажется фальшивым, а недоигранное трогает сильнее. — Давно уже.

Она помолчала, порылась в сумке и протянула ему смятую купюру.

— На вот. И иди в полицию, тебе там помогут, чего ты по улицам-то.

— Боюсь я полиции, — ответил он, и в этой фразе, единственной за весь разговор, не было ни капли лжи.

Женщина вздохнула, покачала головой и ушла, так и не решив для себя, поверила она ему или нет — а Аман, зажав в кулаке первые заработанные подаванием деньги, понял вдруг с ясностью, которая его самого неприятно удивила: она ушла с облегчением. Не потому что помогла. А потому что смогла уйти, не разбираясь дальше.

Он ненавидел эти истории, произнося их, — но ещё быстрее заметил, что чем убедительнее он их рассказывал, тем лучше ему подавали, и это наблюдение, каким бы горьким оно ни было, стало для него ещё одним уроком: люди платят не за правду, а за историю, которая им удобна. Годы спустя, в совсем другой жизни, он вспомнит эту улицу и этот урок не с содроганием, а с холодной благодарностью.

Были и опасные моменты — не раз ювенальная полиция прочёсывала вокзал и прилегающие переходы, вылавливая беспризорных детей. Однажды двое патрульных прижали его в углу у касс раньше, чем он успел скрыться.

— Стоять. Документы есть?

— Нет у меня документов, — сказал Аман, стараясь, чтобы голос не дрожал.

— Откуда сам? Родители где?

Он не стал придумывать сходу новую историю — вместо этого выбрал полуправду, ту самую, которую ему когда-то посоветовал Рыжий: не молчать и не врать в лоб.

— Из области приехал, к дяде, — сказал он, глядя патрульному не в глаза, а чуть в сторону, будто от стыда, хотя на самом деле — чтобы тот не успел ничего прочесть по его лицу. — Адрес забыл, он мне на бумажке писал, а бумажка потерялась. Ищу теперь.

— Сказки мне не рассказывай, — устало произнёс второй полицейский, постарше, явно повидавший десятки таких мальчишек за смену. — В детский дом сбежал, что ли?

— Не был я ни в каком детском доме, — соврал Аман твёрдо, чувствуя, как под рёбрами всё сжимается в тугой узел.

Полицейские переглянулись. Старший махнул рукой — устало, без энтузиазма, будто у него на этот вечер были дела поважнее одного бездомного подростка без документов.

— Иди отсюда, — сказал он. — И на глаза больше не попадайся, а то в приёмник свезём, будешь там сидеть, пока личность не установят.

Аман ушёл, не оборачиваясь, стараясь идти обычным шагом, хотя всё в нём кричало бежать, — и только за углом, привалившись спиной к холодной стене, позволил себе перевести дыхание. Ему повезло — он и сам это понимал уже тогда, ещё не зная слова, которым однажды назовёт всю свою жизнь целиком: устал полицейский, не тот день попался, не то настроение. В другой раз, с другими людьми на дежурстве, разговор вполне мог закончиться иначе.

Именно в те недели с ним случилось то, к чему его не готовила ни детдомовская школа выживания, ни наука Рыжего.

Это было на перекрёстке у проспекта, где он обычно стоял между рядами машин, пока горел красный. Загорелся красный, и рядом остановился белый внедорожник, тихий, вымытый до зеркального блеска, с тонированными стёклами. Заднее окно поползло вниз — ровно на ширину ладони, впуская в салон уличный шум, — и за ним Аман увидел девочку.

Ей было, наверное, столько же, сколько ему. Тёмные волосы, собранные в небрежный хвост, тонкая цепочка на шее, раскрытая книга на коленях. Она подняла глаза от страницы — просто так, без причины, как поднимают глаза, когда ждёшь зелёного, — и посмотрела на него.

Он не помнил потом, сколько это длилось. Три секунды, пять. Всё, что он знал: мир вокруг вдруг выключился, как выключается звук, когда нырнёшь под воду. Ни гудков, ни выхлопа, ни привычной внутренней стрелки, что всегда дёргалась в поисках ближайшего патруля. Только её глаза — светлые, спокойные, без жалости и без брезгливости, — и тонкая полоска стекла между ними, которая вдруг показалась ему шире любой реки.

Он вдруг увидел себя её глазами. Грязные рукава. Обкусанные ногти. Куртка с чужого плеча, пахнувшая вокзалом и дымом. Впервые за все годы он почувствовал стыд — не тот, что заставляют чувствовать взрослые, а другой, острый, сладкий и мучительный одновременно, от которого горят уши и хочется исчезнуть и остаться навсегда.

Она чуть заметно улыбнулась. Не ему милостыню, не сочувствие — просто улыбнулась, как улыбаются человеку, которого заметили. Загорелся зелёный. Окно поползло вверх, машина плавно тронулась и растворилась в потоке.

Аман так и остался стоять посреди дороги, пока сзади не засигналили.

Он не знал слова для того, что с ним произошло. В детском доме о таком не говорили — там любовь была либо поводом для насмешек, либо чем-то из книг и телевизора, далёким, как чужая планета. Но тело знало. Сердце билось не так, как при погоне, — не быстро и жарко, а тяжело, гулко, будто внутри вдруг оказалось место, которого раньше не было.

Той ночью под лестницей он впервые за много месяцев не думал ни о еде, ни о холоде. Он лежал с открытыми глазами и снова и снова прокручивал одну и ту же секунду: поднятые ресницы, полоска стекла, улыбка. Он не знал её имени. Не знал, куда она ехала. Не знал даже, увидит ли её когда-нибудь ещё. Но впервые ему захотелось чего-то не для того, чтобы выжить, а просто так — чтобы быть человеком, на которого можно смотреть и не отводить взгляд.

Наутро он пошёл к фонтану у сквера, долго и тщательно умывался ледяной водой, пытаясь оттереть с лица и рук въевшуюся грязь, и разглядывал своё отражение в дрожащей воде — с недоверием, будто видел его впервые. А потом ещё несколько недель возвращался на тот же перекрёсток и стоял там дольше, чем требовалось для заработка, вглядываясь в каждый белый автомобиль.

Она больше не появилась.

Но эта секунда осталась в нём — тонкая, как полоска стекла, и такая же прочная, — первым доказательством того, что в мире существует что-то, ради чего стоит становиться лучше, чем ты есть.

Той осенью, замерзая по ночам под лестницей одного из вокзальных павильонов, он ни разу не подумал о том, чтобы вернуться. Возвращение означало признать, что весь этот риск, весь этот холод и голод были ошибкой, а он, по причинам, которые сам не до конца понимал, отказывался в это верить. Где-то на дне этой упрямой уверенности лежало то же самое, что вынесло его когда-то живым из реки: не смелость и не расчёт, а простое, почти животное нежелание сдаваться там, где сдать было бы куда логичнее.

Он ещё не знал, сколько времени ему предстоит провести на этих улицах, прежде чем судьба — или то, что он сам однажды назовёт везением, — снова протянет ему руку, как когда-то протянула её река.

Но он уже знал одно: он не вернётся. Что бы ни ждало его дальше в этом огромном, равнодушном и прекрасном городе, оно не могло быть хуже жизни, расписанной за него заранее.

Сон

Везение, как Аман успел заметить ещё в детском доме, никогда не отменяло опасности — оно просто каждый раз оставляло узкую щель, через которую можно было выскользнуть. Той осенью щель едва не захлопнулась насовсем.

Это случилось поздно вечером у товарных путей, куда он пришёл посмотреть, не завалилось ли чего у складов, — там иногда находили выброшенные ящики с подпорченным, но съедобным товаром. В темноте между контейнерами уже сидела компания — взрослые мужчины, судя по голосам, порядком пьяные, и один из них, самый крупный, поднялся ему навстречу, как только заметил.

— Э, пацан. Ты чего тут ходишь?

— Ничего, — сказал Аман и сделал шаг назад, уже понимая, что зря сюда пришёл.

— Ничего он тут ходит. — Мужчина оскалился, шагнул ближе, и от него разило перегаром так, что стало трудно дышать. — Деньги есть? Гони, что есть.

— Нет у меня ничего.

— Проверим.

Мужчина схватил его за куртку раньше, чем Аман успел развернуться и побежать, — рывок был такой силы, что затрещала ткань у ворота. Дальнейшее слилось для него в несколько рваных, лишённых порядка вспышек: чья-то рука вцепилась в воротник, земля вдруг оказалась под неправильным углом, запах щебня и мазута совсем близко от лица, удар — сначала один, потом ещё, и ещё, с тупой, нарастающей болью, которая быстро перестала быть болью в одном месте, а стала общим, оглушающим гулом во всём теле. Кто-то смеялся — коротко, пьяно, будто это было забавно. Он попытался закрыть голову руками — то ли успел, то ли нет, он потом так и не смог вспомнить точно, — а потом сознание вдруг стало проваливаться толчками, как вагон на плохих стыках, и наконец провалилось совсем.

Его нашли под утро — путевой обходчик, шедший вдоль состава с фонарём, увидел неподвижное тело между рельсами и сначала, как когда-то давно рабочие на берегу Сырдарьи, принял его за мёртвого. Вызванная «скорая» довезла Амана до городской больницы в состоянии, которое врачи в приёмном покое привычно, без особых эмоций называли тяжёлым: сотрясение, перелом двух рёбер, обширные гематомы и потеря крови, которая ещё несколько часов держала его между двумя сторонами одной и той же черты.

Он выжил и на этот раз — но не сразу пришёл в сознание, а несколько дней провёл в вязкой, неразличимой полудрёме между явью и сном, где реальность то и дело подменялась чем-то другим, более густым и тревожным. Палата встретила его, когда сознание наконец начало проясняться, привычным больничным набором: капельница тихо щёлкала где-то у изголовья, за окном шумела улица, а в горле стоял сухой химический привкус лекарств, от которого хотелось пить постоянно, сколько бы воды ему ни давали.

Именно тогда ему начал сниться один и тот же сон.

В нём не было ни лиц, ни звуков — только глухая, почти осязаемая темнота, будто он снова лежал в том самом полиэтиленовом пакете, из которого его когда-то вынули чужие руки, хотя наяву он о том пакете, разумеется, не помнил и не мог помнить. В этой темноте всегда стояли три силуэта — неподвижные, безликие, на равном расстоянии друг от друга, будто расставленные заранее кем-то, кто знал точную геометрию этого кошмара. Они ничего не делали. Не приближались, не говорили, не тянули к нему рук. Просто стояли и смотрели — если у теней вообще можно было смотреть, — и от этого спокойного, безучастного присутствия ему было страшнее, чем от любого нападения наяву. Он просыпался от этого сна каждый раз одинаково: рывком, с колотящимся сердцем, хватая ртом воздух, как будто вынырнул с глубины, — и подолгу лежал потом, вглядываясь в потолок больничной палаты, пытаясь понять, откуда

взялись эти три фигуры, которых он никогда не видел наяву, и почему они казались ему не чужими, а как будто давно, ещё до его собственной памяти, знакомыми.

Медсестра, заходившая по ночам проверять капельницу, дважды заставляла его сидящим в темноте с открытыми глазами и один раз не удержалась, спросила, что ему снится. Он не смог объяснить — да и не был уверен, что хочет объяснять; сказал только, что снится темнота, и на этом разговор закончился.

Пока он лежал в больнице, документами и его дальнейшей судьбой занялись органы опеки — обычная процедура для несовершеннолетнего без сопровождения и без установленной личности. Полиция довольно быстро выяснила, кто он и откуда, — фотографию сверили с ориентировкой из Шымкента, разосланной ещё в то лето, когда он сбежал. Судьба его была решена раньше, чем он успел толком встать на ноги: как только позволит состояние здоровья, его должны были перевести в детский дом №1 — крупное городское учреждение, о котором на вокзале и на улицах Аман уже слышал не самые обнадеживающие вещи.

— Туда лучше не попадать, если можно, — обронила как-то нянечка, разносившая ужин по палатам, разговаривая, кажется, больше сама с собой, чем с ним. — Дом большой, детей много, а до каждого дела не доходят. Слышала я, что там творится.

Она тут же спохватилась, будто сказала лишнее, и быстро сменила тему — но фраза уже осела в нём тяжёлым камнем, добавившись к трём безмолвным теням, которые продолжали навещать его почти каждую ночь.

Он выздоравливал быстрее, чем ожидали врачи, — ещё один пункт в списке вещей, которые давно перестали его удивлять, но не переставали удивлять окружающих. Ребро срасталось, голова больше не кружилась при резких движениях, силы возвращались с той же необъяснимой скоростью, с какой когда-то, ещё младенцем, у него забилося сердце под рукой случайного рабочего на берегу реки.

Как только он снова начал твёрдо держаться на ногах, он понял: тянуть больше нельзя. Документы на перевод, по обрывкам разговоров персонала, должны были оформить со дня на день, а с тем, что он слышал про детский дом №1, возвращаться туда, откуда однажды уже сбежал — пусть и в другое, но по сути такое же самое место, — он не собирался ни при каких условиях.

Ночью, когда пост медсестры на этаже опустел на те самые пятнадцать минут, за которые обычно менялись дежурные, Аман тихо поднялся с кровати, снял с себя больничную рубашку и переоделся в свою старую одежду, аккуратно сложенную санитарями в тумбочке, — заживающие рёбра отзывались резкой болью при каждом движении, но он стиснул зубы и не позволил себе даже застонать. Он на цыпочках прошёл по тёмному коридору, мимо дремлющей на посту нянечки, вниз по лестнице для персонала, которой, как он успел заметить за дни лежания у окна, пользовались редко, — и вышел через хозяйственный выход на пустую предраассветную улицу, где воздух был холодным, а город — таким же огромным и равнодушным, как в первый день, когда он его увидел.

Оглянувшись один-единственный раз на тёмные окна больницы, он подумал о трёх безликих тенях из своего сна — и о том, что, кажется, только что снова обманул кого-то из них, кто уже почти решил, что на этот раз дотянется.

Потом он повернулся и пошёл прочь — снова один, снова без документов и без имени, которое мог бы назвать вслух, но, как и в первый раз, живой.

Дороги

Следующие три года не складывались в один сюжет — они складывались в список городов.

Талдыкорган. Попутная фура, водитель, не спросивший документов, — то ли пожалел, то ли просто хотел компанию в долгой дороге.

Потом Тараз. Снова товарняк, снова лязг сцепок, снова холод между ящиками. Полгода задержки — нашлась работа на овощной базе: таскать ящики за еду и ночлег в подсобке. Без оплаты. Без вопросов.

Потом Шымкент. Тот самый город. Другой район. Никто бы не узнал в исхудавшем, огрубевшем подростке того самого мальчика из детского дома.

Снова Алматы. Потом Караганда — случайно, в чужом грузовике, не туда, куда собирался.

Он не выбирал эти города. Их выбирала за него цепь случайностей, которую он всё увереннее называл про себя одним словом. Уезжал он всегда по одной и той же причине: либо становилось слишком опасно оставаться, либо заканчивалась работа, либо кто-то из взрослых начинал задавать слишком много вопросов о его возрасте и документах.

Он узнал за эти годы то, что не проходят ни в одной школе.

Он узнал, что такое настоящий голод — не тот, что терпится до обеда, а тот, что заставляет разглядывать выброшенную еду с расчётливостью, лишённой всякой безразличности; узнал, каково спать зимой, когда единственная разница между жизнью и смертью — это лишний слой картона под спиной и стена, закрывающая от ветра хотя бы с одной стороны. Узнал, что взрослые, готовые взять подростка без документов на работу, делятся на два типа: тех, кто просто пользуется тем, что тебе некуда пожаловаться, и тех, кто пользуется этим же, но хотя бы честно платит за труд, — и что разница между этими двумя типами людей стоит того, чтобы научиться различать её с первого взгляда, потому что от этого зависело, обманут тебя один раз или будут обманывать месяцами.

На стройке в Таразе прораб не заплатил ему за две недели работы, сказав в лицо, что несовершеннолетнему без документов жаловаться некуда, и был прав — Аман тогда впервые в жизни испытал не привычную уже пустоту, а настоящую, злую ярость, от которой хотелось разбить что-нибудь, желательно лицо этого человека, — и именно тогда же понял, что ярость, какой бы справедливой она ни была, не кормит и не защищает; кормит и защищает только расчёт. С того дня он завёл привычку, которая осталась с ним на всю жизнь: никогда не начинать работу, не договорившись заранее, вслух, при свидетелях, о том, что и когда он получит взамен, — и не потому что верил в человеческую порядочность, а именно потому что давно перестал в неё верить.

На овощной базе в Таразе, напротив, ему впервые повезло встретить взрослого, который отнёсся к нему по-человечески без всякой корысти, — пожилого грузчика по имени дядя Толя, полурусского-полуказаха, потерявшего в своё время собственного сына и с тех пор, кажется, подсознательно искавшего, кому передать то, что осталось невостребованным. Дядя Толя не спрашивал лишнего, кормил щедрее, чем полагалось по договорённости, и однажды, увидев, как Аман в свободную минуту разглядывает старую, потрёпанную карту автомобильных дорог, забытую кем-то в подсобке, вдруг сказал:

— Ты, парень, не части. Бегать всю жизнь — не дело. Найди со временем угол, документы восстанови какие-нибудь, специальность возьми. Улица ничему, кроме как выживать, не научит, а тебе ещё жить и жить.

Аман тогда не ответил, но слова эти легли рядом с теми, что когда-то сказала ему воспитательница про воду, — ещё одним камнем в основание того, что постепенно складывалось

внутри него не то в характер, не то в философию, которую он сам пока не мог бы сформулировать.

Он рано понял, что выживание в одиночку требует не одной, а сразу нескольких версий себя. С прорабами и хозяевами баз он говорил кратко и по делу, не давая повода усомниться в том, что перед ними человек, знающий цену своему труду, — хотя за этой уверенностью часто стояла одна лишь голодная решимость не продешевить. С полицией — там, где раньше срабатывала полуправда, — он научился со временем говорить настоящую, отшлифованную годами легенду, звучавшую настолько ровно и по-деловому, что у большинства патрульных просто не оставалось повода копать глубже. С другими беспризорниками и такими же, как он, скитальцами он держался иначе — сдержанно, вежливо, никогда не набиваясь в друзья первым, потому что слишком много раз видел, как быстро рвётся дружба, построенная на общей нужде, если нужда у одного из двоих вдруг заканчивается раньше, чем у другого.

Он выучился читать людей быстрее, чем читал буквы, — потому что буквам его толком никто и не учил после детского дома, а вот людям его учила сама жизнь, каждый день, без каникул и без права на ошибку. Он замечал то, на что не обращали внимания его сверстники, росшие в семьях: как меняется тон голоса за секунду до того, как человек сойдёт; в какой момент нужно замолчать, а в какой — наоборот, заговорить первым, чтобы не дать собеседнику додумать за тебя худшее; когда щедрость настоящая, а когда она лишь способ купить твоё молчание или благодарность напоказ.

Этому не учат ни в одной школе бизнеса, но именно это, годы спустя, станет фундаментом всего, чем он будет зарабатывать себе на жизнь, — задолго до того, как он вообще узнает слово «переговоры» в его профессиональном смысле.

К шестнадцати годам в нём было уже мало общего с тем испуганным подростком, что впервые прыгнул в товарный вагон на станции в Шымкенте. Он вытянулся, огрубел лицом и голосом, приобрёл ту особую, настороженную грацию людей, которые слишком рано научились в любой момент быть готовыми либо к удару, либо к бегству. Но было и то, что осталось неизменным с самого начала, с той самой первой ночи у реки, о которой он никогда не узнает: странная, необъяснимая живучесть, которая раз за разом проводила его по краю пропасти, ни разу не дав в неё соскользнуть.

Именно в тот год, в маленьком городке под Карагандой, куда его занесло очередной случайной попутной машиной, он впервые всерьёз задумался не о том, как пережить ближайшую неделю, а о том, что делать с жизнью дальше. Слова дяди Толи про документы и специальность не давали покоя — тем более что скитаться дальше становилось всё труднее: тело взрослело, а вместе с ним росли и подозрения тех, кто раньше принимал его за безобидного подростка.

Он решил рискнуть — впервые за долгие годы пойти не от людей, а к ним, назвавшись собственным именем в местном отделе опеки небольшого районного центра, где, как он рассудил, вряд ли кто-то станет с рвением искать беглеца из шымкентского детского дома трёхлетней давности.

Кабинет, в который он вошёл, пах бумагой, канцелярским клеем и слабым, застоявшимся кофе — запах, до того момента ни разу не встречавшийся ему на улице, где пахло совсем другим: бензином, немытым телом, дешёвым куревом, но зато честно, без примеси. Женщина за столом говорила с ним ровно, вежливо, с той профессиональной теплотой, которую тренируют на курсах и которая не долетает до глаз, — и Аман, слушая её, в очередной раз поймал себя на мысли, что этот отглаженный, обставленный правильными словами мир кажется ему куда более чужим и непрозрачным, чем любой тёмный двор, где по крайней мере было ясно, кто чего хочет и чем готов за это заплатить.

Расчёт его оказался верным — а может быть, снова сработала всё та же неизменная сила, которая упорно отказывалась дать ему пропасть: дело завели формальное, без огласки, и вместо того, чтобы отправить его в очередное закрытое учреждение, ему, как несовершеннолет-

нему на грани совершеннолетия, предложили место в колледже с общежитием — техническом, ничем не примечательном, но настоящем, с крышей, расписанием и, главное, с документом, который наконец удостоверял, что человек по имени Аман действительно существует на свете.

Так закончилось детство, которого, по сути, у него никогда толком и не было, — не праздничным моментом, не долгожданным освобождением, а буднично, за канцелярским столом уставшей чиновницы, поставившей штамп на бумаге, которая впервые в его жизни значила больше, чем просто лист бумаги.

Он вышел из этого кабинета в тот день другим человеком — не потому что что-то внешне изменилось, а потому что впервые за всю свою жизнь у него появилось будущее, которое не нужно было красть, выпрашивать или выцарапывать у случая. Оставалось только одно: научиться, наконец, жить в нём так же упрямо, как он до сих пор умел только выживать.

Документ

Пятнадцать рабочих дней. Столько, как объяснила женщина в окошке, нужно государству, чтобы подтвердить, что человек существует.

Аман считал их не по календарю, а по вечерам. В общежитии колледжа пахло варёными макаронами и мокрыми куртками, на четверых была одна лампа над столом, а за тонкой стеной кто-то каждую ночь смотрел футбол с приглушённым звуком. Он лежал на койке лицом к стене — старая привычка: спиной к двери нельзя — и в который раз проверял карман. Пустой. Как будто документ мог прийти раньше срока и потеряться по дороге.

Он пришёл в назначенный день. Очередь, номерки, табло с красными цифрами, кондиционер, гоняющий по залу холодный воздух. Женщина за стеклом сверила его лицо с фотографией, сказала: «Распишитесь здесь» — и он расписался.

Эту подпись он репетировал неделю. В тетради по черчению, тайком, ночью, вывел её сотню раз: сначала неуверенно, потом быстрее, потом с росчерком, который казался ему взрослым. Первая подпись в жизни. Раньше его фамилию писали другие — в журналах, ведомостях, актах, — а он только смотрел, как её пишут.

— Поздравляю, — сказала женщина, не поднимая глаз. — Вы гражданин Республики Казахстан.

Формула, которую она произносила по двадцать раз в день. Он вышел на улицу, сел на бордюр у остановки и долго смотрел на карточку.

Она была гладкой, чуть скользкой и пахла новым пластиком. Герб. Его лицо на фотографии — худое, настороженное, глаза чуть в сторону, как у человека, привыкшего смотреть на выходы. Аманов Аман. Фамилию, как и день рождения, выбрали за него чужие люди: в опеке просто прибавили к его имени окончание, как делают тем, у кого нет рода. Живой и ещё раз живой. Он долго разглядывал это повторение и не мог решить, насмешка это или благословение. Номер. Дата. Срок действия: десять лет.

Десять лет. Никто никогда не давал ему ничего на десять лет вперёд.

Он вспомнил первую запись о себе, ту самую, что видел в своём деле, когда в опеке дали его пролистать, — «мальчик, найден в реке» — и вдруг, сидя на бордюре под серым алма-тинским небом, ясно понял разницу. Тогда его нашли. Теперь — признали. Не подобрали, не пожалели, не записали в графу «прочее». Написали, чёрным по белому: человек. Гражданин. Здесь, в этой стране, на этой земле, его существование было зафиксировано и подтверждено печатью, которую нельзя было отменить одним настроением чиновника.

Он не улыбнулся. Он вообще плохо умел улыбаться вслух. Но в груди что-то расправилось, как лёгкие после долгого нырка, и он ещё минут двадцать сидел без движения, боясь, что если встанет — всё окажется сном.

Ночью карточка лежала у него под подушкой. Он несколько раз просыпался, нащупывал её пальцами — на месте — и засыпал снова. Впервые за много лет — без того, чтобы держать одно ухо открытым.

Колледж он закончил за три года. Специальность — организация перевозок. Он выбрал её сам, когда наконец дали выбирать, и не смог бы объяснить почему: то ли потому, что в ней были поезда, то ли потому, что в ней были правила. Расписания, накладные, номера вагонов, пломбы. Мир, где каждая вещь имела номер и путь и не могла просто исчезнуть. Он учился хорошо — там, где правила были написаны. Хуже — там, где их приходилось угадывать по взглядам однокурсников.

На последнем курсе его отправили на практику в терминал на окраине Алматы, за товарной станцией. Там же его после диплома и оставили — помощником экспедитора, без лишних

разговоров, потому что бумаги он заполнял без единой пометки, а на замечания реагировал молча.

Он не знал ещё, что именно молчание и станет его главной бедой.

Чужой

Терминал жил по ночному графику. Днём — фуры, кран-балки, крики диспетчеров. К вечеру — тишина, в которой особенно слышно, как железо остывает и потрескивает. Запах стоял густой: мазут, нагретая за день сталь, мокрый картон, чужие страны. Контейнеры приходили с китайскими иероглифами на боках, с наклейками немецких портов, с царапинами от кранов, которых он никогда не видел.

Работа ему нравилась. Проверить пломбу. Сверить номер контейнера с накладной. Найти ошибку в чужих бумагах и вернуть их с аккуратной пометкой. В этом была ясность, которой ему не хватало всю жизнь.

Люди — совсем другое дело.

Бригада собиралась в бытовке в обед: чай из общего чайника, лепёшки, разговоры о ценах, футболе, свадьбах, тёщах. Смех, толчки в плечо, хлопки по спине — всё то, что другие принимали как воздух. Аман сидел у двери, ел быстро, глядя в тарелку, и уходил первым. Он не умел смеяться вовремя. Не умел отвечать на шутки, за которыми не мог прочесть, где кончается шутка и начинается проверка. Он слишком хорошо читал людей — и оттого слишком долго думал перед каждым словом.

— Ты чего такой, как из ссылки? — спросил его как-то грузчик Ержан, крупный, шумный, добродушный до тех пор, пока не выпьет. — Скажи хоть слово. Мы не кусаемся.

— Я нормально.

— «Нормально», — передразнил Ержан, и бытовка загоготала. — Всё у тебя «нормально». Как у покойника.

Кличку прилепили за неделю. Сначала «Молчун», потом «Тихий», потом — за спиной, но так, чтобы он слышал, — «детдомовский». Слово, которое в детском доме было просто фактом, здесь звучало как приговор. Как будто он вошёл в чужой дом в грязной обуви и не заметил.

Он не жаловался. Просто дальше стал держаться на расстоянии. Приходил раньше всех, уходил позже. Обедая на ящиках за складом. Спал плохо: в общежитии сквозняк, шаги в коридоре, а стоило кому-то резко хлопнуть дверью, как тело само вскакивало, готовое бежать. Он замечал это за собой и злился — на тело, на голову, на всё, что не умело просто отпустить.

В одиночестве изгоя есть своя арифметика. Чем дальше ты от всех, тем меньше поводов им тебя задеть. И тем сильнее злость на то, что ты сам всё это выбрал.

Всё лопнуло в ноябре.

Смена подходила к концу, в бытовке орал телевизор, и Ержан, уже слегка навеселе после чьего-то дня рождения, вдруг обернулся к Аману:

— Слушай, а у тебя вообще есть кто? Мать, отец, тётка какая-нибудь? Ты ж никогда ничего не рассказываешь.

— Нет.

— Как это «нет»? У всех есть.

— У меня нет.

Ержан прищурился, и на лице у него появилась та улыбка, которую Аман знал по коридорам детского дома, — улыбка человека, нащупавшего слабое место.

— А-а, — протянул он громко, чтобы слышали все. — Найдёныш. Да ладно. Может, тебя вообще на помойке нашли? Или, — он хихикнул, — в речке выловили, как котёнка.

Он не мог знать про реку. Это была случайная шутка, брошенная наугад, — но попавшая туда, куда ни один нож не попадал.

В следующее мгновение мир сузился. Шум телевизора, смех, запах чая — всё исчезло, как в ту ночь в вагоне, когда остался только стук колёс. Осталась только рука Ержана на спинке стула, слишком близко, слишком уверенная.

Дальше он не помнил последовательности. Стул полетел в сторону. Чей-то крик. Кулак — короткий, точный, из тех, что учатся не в спортзале, а в подворотнях, — и Ержан, тяжёлый, огромный, вдруг отлетел к стене и сполз на пол, хватаясь за лицо. Кровь на белой рубашке. Аман стоял над ним, дыша ртом, и в голове не было ни одной мысли, только гул, как после удара о ступеньку чёрного хода много лет назад.

— Ты что творишь?! — кто-то схватил его за плечи, оттащил. — Ты с ума сошёл, детдомовский?!

Слово ударило сильнее кулака.

Его отстранили в тот же вечер. На следующее утро вызвали к начальнику терминала — усталому мужчине с тяжёлым лицом и папкой, в которой, как Аман знал, уже лежал акт. Ержан с распухшим носом и подбитым глазом сидел в коридоре и не смотрел на него.

Аман стоял перед столом и слушал слова: «дисциплинарное нарушение», «статья», «уволить по инициативе». Внутри было пусто и холодно. Он знал этот холод. Он говорил ему: ты снова там, откуда убегал, только теперь у тебя есть бумага, которую можно отобрать.

— Погодите, — сказал кто-то у двери.

В кабинет вошёл Марат.

Ему было около пятидесяти. Сухой, жилистый, с седой щетиной и глазами человека, который слишком много смотрел на дорогу. Экспедитор с двадцатилетним стажем, в терминале его звали «Европа» — Аман слышал это прозвище, но не знал почему. Марат почти не разговаривал с ним за всё время, только пару раз молча ставил перед ним на ящик кружку с горячим чаем.

— Я всё видел, — сказал Марат начальнику. — Ержан первым перешёл черту. Не про драку, про слова. Парень не полез бы, если б его не довели. Штраф ему, выговор ему. Я за этого мальчишку ручаюсь.

— Ты? — начальник поднял брови. — С чего вдруг?

— С того, что я его бумаги проверяю уже полгода. Ни одной ошибки. А людей за это не увольняют.

Начальник долго молчал. Потом захлопнул папку.

— Выговор. И к Ержану — извиниться. Оба.

Аман извинился — коротко, глядя в пол. Ержан пробурчал что-то невнятное, и на том дело закончилось. Но по дороге из кабинета Аман остановился в коридоре напротив Марата.

— Зачем? — спросил он. — Вы меня не знаете.

— Знаю, — Марат пожал плечами. — Я таких видел. Сам таким был, только по-другому. Пойдём чаю попьём.

Так началось то, что Аман потом назовёт вторым настоящим подарком судьбы после реки.

Они сидели на ящиках за складом. Вечерело, над терминалом загорались прожекторы, где-то далеко тянулся гудок маневрового тепловоза. Марат налил чай из термоса, протянул кружку.

— Ты знаешь, почему меня зовут Европой?

— Нет.

— Пятнадцать лет за рулём, — сказал Марат. — Фура, международные рейсы. Польша, Германия, Голландия, Бельгия. И в обратную сторону — Урумчи, Синьцзян, дальше вглубь Китая.

Аман молчал, но в его молчании впервые за много месяцев появилось что-то живое.

— В Европе, парень, дороги — как стол. Ровные, гладкие, без единой ямы. Едешь по автобану, а на обочине — леса, как нарисованные, аккуратные, будто их кто-то причесал. Ночью стоишь на парковке, а вокруг — тишина, порядок, никто не орёт, никто тебя не трогает. Утром выходишь — трава мокрая, воздух чистый, пахнет хлебом из ближайшей пекарни. Я там первый раз в жизни заплакал от того, что всё работает.

— А в Азии?

— Там другое. — Марат усмехнулся. — Урумчи ночью — рынок на полгорода. Дым от жаровен, запах баранины и специй, огни, толпа, голоса, ничего не понятно, а красота такая, что хочется остаться навсегда. Или по горным перевалам ехать, где облака ниже колёс. В Стамбуле мост через Босфор ночью: с одной стороны Европа, с другой Азия, а под тобой вода, и ты думаешь: вот же она, граница, а её не видно. Просто мост.

Он помолчал.

— Понимаешь, я тоже был чужим. Не там, где ты. Другим чужим. Дома ничего не получалось. А там, на трассе, за границей, я вдруг стал никем — и оттого свободным. Никто не знал, откуда я. Никто не тыкал в биографию. Ты просто ехал, и это было твоё.

— Мне никто не мешал быть чужим, — сказал Аман тихо. — Мне мешало, что меня за это били.

— Знаю. — Марат посмотрел на него внимательно. — Слушай. Тебе здесь тесно. Не потому, что ты плохой. Потому что ты слишком много видел для этих стен. Тебе не с ними надо. Тебе — туда.

Он кивнул на контейнеры, уходящие рядами в темноту.

— Видишь? Эти ящики объехали полмира. Они видели Дуйсбург, Гамбург, Шанхай. А ты сидишь тут и думаешь, что мир кончается за складом.

Аман смотрел на контейнеры и вдруг увидел их по-новому. Не просто сталь и номера. Путешественников. Каждая царапина — чья-то дорога. Каждая наклейка — чужой порт.

— Удостоверение, — сказал Марат, будто угадав его мысли, — это чтобы жить здесь. Паспорт — чтобы уехать. Запомни. У тебя первое уже есть. Второе — по желанию. Когда захочешь.

Аман не ответил. Но в ту ночь, вернувшись в общежитие, он впервые за много лет не лёг лицом к стене, а лёг на спину и долго смотрел в потолок. Тревога никуда не делась — он всё так же вздрагивал от хлопнувшей двери, — но под ней шевельнулось что-то другое. Не надежда ещё. Любопытство.

А потом, уже засыпая, он увидел их снова. Три силуэта в темноте. Неподвижные, безликие, на равном расстоянии друг от друга. Но на этот раз он не проснулся с колотящимся сердцем. Он просто посмотрел на них, как смотрят на давно знакомое, надоевшее и всё-таки не страшное, — и отвернулся.

Утром он пришёл на работу раньше всех. Проверил пломбу на новом контейнере, только что снятом с платформы. Сверил номер. Провёл ладонью по холодному боку, по которому тянулись иероглифы и след чужого порта.

И впервые подумал: а что, если мир действительно начинается за складом?

Европа

Земляк

Два года он копил.

Сверхурочные, ночные смены, чужие выходные, которые он брал охотно, потому что ему некуда было их девать. Терминал за это время перестал быть для него враждебной территорией: Ержан однажды молча поставил рядом с ним кружку чая и с тех пор не заговаривал о родне. Бригада так и не приняла Амана до конца, но перестала его выталкивать. Этого было достаточно.

Паспорт он оформил в тот же месяц, когда решил. Синяя книжечка с пустыми страницами, которые ждали своих штампов. Виза — студенческая, языковые курсы при парижском университете: единственная законная дорога, которую он нашёл, и деньги за первую половину учёбы ушли вперёд, целиком. Пятнадцать рабочих дней ожидания. Он усмехнулся, когда узнал срок: это число ходило за ним по пятам.

Марат провожал его в аэропорту, в толпе с чемоданами, наспех накинув куртку и засыпая его советами.

— Деньги в одном месте не держи, — сказал он.

— Знаю.

— Знаешь, — Марат хмыкнул. — Ты всё знаешь. А там люди тоже всё знают. Особенно про таких, как ты, — молодых, одиноких и с надеждой на лице.

— Я не с надеждой.

— С надеждой, — Марат хлопнул его по плечу. — Не стыдись. Возвращаться необязательно. Но помни: дорога всегда в обе стороны.

Самолёт шёл через Стамбул. Ночью, в окне, под крылом мигнула чёрная вода, перечёркнутая цепочкой огней. Босфор. Мост, о котором рассказывал Марат: с одной стороны Европа, с другой Азия. Аман прижался лбом к стеклу и искал границу. Нашёл только огни. Просто мост. Руасси встретил его серым бетоном и стеклянными трубами эскалаторов, уходящими в никуда. Голоса из динамиков говорили на трёх языках, и ни на одном из них он не понимал ничего, кроме собственного имени, случайно прозвучавшего на паспортном контроле.

Офицер за стеклом задал вопрос. Аман не понял. Повторил вопрос — снова не понял. Тогда офицер, устало, по слогам, по-английски: «Куда. Зачем. Сколько». Аман ответил тремя словами, которые репетировал неделю. Штамп ударил в страницу — глухо, коротко, как выстрел из очень маленького ружья.

Первый штамп в жизни. Он вышел в зал прилёта с ощущением, что у него на груди должны гореть буквы.

Электричка до Парижа пахла горячими тормозами, мокрой одеждой и чужой едой. Люди говорили быстро, мягко, с носовыми звуками, и ему казалось, что вокруг звучит один длинный, бесконечный шорох. Он держал рюкзак на коленях и вспоминал: не выпускай из рук, не показывай, что боишься.

— Землячок?

Голос прозвучал по-русски, и Аман вздрогнул так, будто его окликнули по имени.

Рядом сидел мужчина лет сорока пяти — ухоженный, в хорошей куртке, с тёплой, почти отеческой улыбкой. Кожа смуглая, волосы с проседью, взгляд внимательный.

— Поговору слышу — с Востока. Казахстан? Я сам из бывших наших, Тимур. Двадцать лет тут. Ты откуда, давай, не стесняйся.

И Аман, который два часа не слышал ни одного знакомого слова, вдруг обнаружил, что говорит. Слова текли сами — быстро, жадно, по-русски, как вода в пересохшее русло. Он рассказал про курсы. Про Алматы. Про то, что ищет комнату недорого. Даже назвал своё имя.

— Аманов Аман, — повторил Тимур и рассмеялся. — Живой, значит! Хорошее имя. К удаче.

Слово «удача» тронуло его где-то глубоко, и сигнальный огонёк, который годами горел у него в затылке, мигнул и погас.

У Тимура, конечно, была комната. У знакомого, тихий район, рядом с метро, хозяин порядочный, но не любит переводов, только наличными, залог за два месяца вперёд. Он говорил спокойно, деловито, без нажима. Он купил Аману кофе на Гар-дю-Нор. Он показал на телефоне фотографию светлой комнаты с окном.

— Жди здесь, у выхода, — сказал он. — Схожу за ключами. Десять минут.

Аман отсчитал конверт. Большую часть накопленного, нет, не всё: две пачки он давно разложил по-другому, тонкой полоской в подошву ботинка, ещё одну зашил в подкладку куртки. Старый рефлекс не подвёл. Но даже эта часть, когда конверт исчез в кармане Тимура, отозвалась в животе пустотой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.